



Переславский цирюльник

Я жил в конце Советской улицы, а он — в начале Кардовской, древний вал разделял наши жилища. Идя поутру на работу, я частенько встречал его, бредущего куда-то по своим делам, непременно с маленькой хозяйственной сумочкой в руках. Небольшой, аккуратный, с печальными красивыми голубыми глазами, смотревшими на меня всегда с робким чувством удивления. Кивнём друг другу, разминёмся и шагаем дальше. Я много о нём слышал, особенно как о профессиональном парикмахере.

Близко сошлись мы как-то раз за столом нашего старого городского ресторана, славившегося отменной кухней и ленивой прислугой. Был канун великого дня несчастья для России — 21 июня. Я сидел в углу зала. Посетителей в ресторане раз, два и обчёлся. Он вошёл в зал как бы крадучись, — «вот, мол, ещё день, а я иду в кабак». Не сел сразу за столик, а подошёл к буфетной стойке, заказал водки и бутерброд, не отходя, выпил. Крякнув от удовольствия, встрепенулся и повёл оживлённый разговор с буфетчицей, постоянно оглядываясь в зал, изучая редких посетителей. И тут заметил меня. Некоторое время он ещё продолжал свою беседу, потом, быстро оторвавшись от стойки буфета, засеменил через весь зал к моему столу. Подойдя, поздоровался и попросил разрешения присесть рядом, на что я ответил согласием.

Он как-то бесшумно, боком сел, мы познакомились. Представился он Валентином Васильевичем Григорьевым и поспешил сообщить:

— А вас зовут Владимиром Ивановичем, и вы работаете в музее. Я всю семью вашу знаю: мать и отца, Ивана Васильевича, и дядю вашего старшего, Василия Ивановича. Весёлый был человек. Я постоянно его стриг на дому. Давно это было, ещё до войны... Ведь он жил у Покрова? Да, у Покрова... Бывало, зайдёшь к нему, вокруг дым коромыслом — накурено, хоть топор вешай. Кругом кошмы меховые валяются, а на них резвятся собаки охотничьи, кажется, легавые, правда я плохо разбираюсь в собаках.

Я поспешил развеять его сомнения, подтвердив, что действительно это были легавые.

Оторвавшись от разговора, он подозвал знакомую официантку и заказал себе ещё водки и закуски. Пока официантка занималась его заказом, мы выпили из моего графинчика.

Разговор продолжался.

— А ведь завтрашний день, Владимир Иванович, для меня особый: в тот день, утром 22 июня 1941 года, в самом начале войны, я уже был пленным. Наша часть стояла сразу за Бугом, недалеко от Бреста. Я был санитаром. Немцы форсировали Буг, пленили всю нашу часть, так что наши же казармы стали нашими казематами...

И тут Васильич, не закончив свой горький рассказ, заплакал. Тем временем официантка принесла его заказ. Васильич налил себе рюмку водки и, извинившись, выпил один, объяснив, что он делает так каждый раз, поминая своих однополчан.

— И что же, так всю войну и страдали в плену? — поинтересовался я.

— Да нет... Вот кукиш им, фрицам-то!

С минуту он молчал, потом продолжил:

— Бежали мы вчетвером на третий день плена глухой ночью. Удачно бежали. Помогло то, что местность вокруг знали хорошо. Как-никак два года здесь прослужили. Да и погони никакой не было. Тогда на Буге немцы вели себя беспечно. В полной уверенности, что

вот-вот вся варварская Россия будет покорена. А тут какие-то четыре солдата дали деру. Плевать! Куда денутся? Всё равно не уйдут.

День на второй, километрах в сорока от Бреста, пристали мы к одной сапёрной части, которая в полном порядке с боями отступала на Минск. После сдачи Минска снова побежали, укрываясь в лесах. Но уже не одни, а с солдатами разных частей. Оборона-то наша рухнула. И так добежали до Ельни. Здесь уже была налажена крепкая оборона. Нас, прибежавших из-под Минска, упрятали в фильтрационный лагерь. Был он в лесу. Фильтровали люди из «Смерша», но ничего, обошлось. А что с нами делать? Солдаты-то нужны были. Надели на меня санитарную сумку — и в маршевую роту, под ту же Ельню.

Так вот, в бою, бывало, то ползком, то перебежками добирался до раненых. Сколько за войну посмотрелся на них, сердешных да изувеченных! Самого же Бог миловал. В голову, правда, был легко ранен, да быстро оклемался. Даже в госпиталь не пошёл. Сам лечился. Таким макаром дошёл я до Кенигсберга. Тут и война кончилась...

— Слушай, Васильич, — перебил я его, — а как же насчёт профессионального дела: работа парикмахера на войне не подворачивалась?

— Да так себе, помаленьку. Стриг в основном своих сослуживцев-солдат. С начальством дела мало имел. Не высовывался. Не хотел в холуях ходить да выслуживаться. Домой вернулся в конце 1946 года. На груди медали «За отвагу» да «За боевые заслуги». Не густо, но рад был. Награды-то чисто солдатские, кровные. И родные довольны: живой да ещё и с наградами.

Через полчаса мы были друзьями и в весёлом расположении духа покинули питейное заведение. И в доверительных отношениях оставались до последних дней жизни Васильича. Более того, я уже ни у кого, кроме как у Васильича, и не стригся. Каждая наша стрижка казалась мне своего рода праздником. И не только из-за отменного мастерства старого цирюльника. Ведь он был отличным собеседником. Его волновало буквально всё: история края и священное писание, образы русской литературы и память об интересных людях, его современниках.

Любил он поговорить и о женщинах.

— Года два, после войны, ходил в холостяках, — вспоминал он не раз, а я с удовольствием слушал. — На работу пошёл в парикмахерскую. Мастерству этому ещё сызмальства научил меня покойный папаша. Сам он начинал в Москве в подмастерьях, потом в мастера вышел. Бывало, стрижёшь женщину, молодую, в самом соку, а сам всё подглядываешь: зайдёшь за кресло, вроде что подравнять, а сам глаза в вырез платья. Так! Веришь, Иваныч, порой, бывало, руки и ноги трясутся, весь в поту ходишь... Ну, а Лизу, жену будущую, заметил сразу. Сердцем почувствовал. Помню, вошла робкая такая молодлица, боком на кресло села да вдруг и заявляет: «Постригите повыше и завивку сделайте!» Я обомлел. Из себя такая простенькая, круглолицая, сероглазая, а волосы на голове, скажу тебе, чудо! Белокурые, густые и почти до пояса, локонами крупными на спине лежат. Стал уговаривать: «У вас такие прекрасные, зачем их сечь, убивать, подравню и будет хорошо...» А она своё твердит: «Стригите, завивайте, чтоб по последней моде, как все ходят».

И что вы думаете? Отказался, сказав: «Вон к тому мастеру идите». А мастер — женщина уже в годах, опытная. Увидела её красоту, и тоже заявила: «Валентин прав. Вам совсем не надо себя уродовать. Чуть подравнять — и точка!» Лиза так и взвилась вся. Гордо встав, покинула резвой походкой нашу маленькую парикмахерскую, что притулилась к хлебному магазину на Ростовской улице. Да что тебе говорить! Сам помнишь наши «апартаменты». «Валька, — крикнула мне мастер, — догони девчонку, больно хороша!» Нет, не догнал. Она сама пришла дней через несколько. Подошла к моему креслу и попросила: «Надумала всё же немножко подравнять волосы, длинны больно, мороки с ними много». Мягко так, певуче сказала и посмотрела мне в глаза... После войны-то мужики не завалились! — закончил Васильич и рассмеялся от души громким смехом.

Прожили они в супружестве недолго и не совсем удачно. Детей им Бог не дал. Умерла Елизавета рано. Последние двадцать лет старый цирюльник вдовствовал. Но жил не одиноко. Друзья, товарищи охотно заходили в его небольшую комнату на первом этаже деревянного ветхого дома, построенного ещё во времена НЭПа. Вёл он небольшую практику на дому. Ребятишек соседских стриг за так, ну а взрослых, которые все были его знакомые

и постоянные клиенты, за основную «русскую» плату. Умер Валентин Васильевич Григорьев, старый воин, в Великий день поутру 9 мая 1995 года.